

An abstract painting by Andrey Bychkov. The composition is dominated by bold, expressive brushstrokes in a variety of colors including yellow, blue, red, green, and brown. The forms are somewhat indistinct, suggesting a figure or a landscape element, but the overall effect is one of dynamic energy and emotional intensity. The background is a mix of warm tones like orange and red, contrasting with the cooler blues and greens.

Андрей
БЫЧКОВ

ПЕРЕСПАТЬ
С ИДИОТОМ

Андрей Станиславович Бычков

Переспать с идиотом

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49868226

*Переспать с идиотом:
ISBN 978-5-907189-61-4*

Аннотация

Андрей Бычков – авангардист, один из самых ярких и необычных современных русских писателей, автор нескольких книг в России и за рубежом, сценарист культового фильма Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж». Лауреат премий «Silver Bullet» (USA) и «Нонконформизм», финалист премии Андрея Белого. Роман «Переспать с идиотом» – это не только история героя и его «двойника» – актера из театра даунов, но это также и история женщины, выбирающей себе наказание. Это роман о пороке и об избавлении от порока. Сюжет черпает свою подъемную силу в третьем платоновском начале, которое зовется «хорой» и проявляет себя в этом философском романе посредством языковой игры. Прозу Быčkoва высоко оценил Юрий Мамлеев: «Творчество Андрея Быčkoва глубоко русское по той простой причине, что здесь снова приоткрывается та самая бездна, которая завещана нам еще Достоевским. Романы Быčkoва это продолжение великой русской традиции. Здесь есть глубина духа, глубина проникновения в материал, и это великая

заслуга автора». В оформлении обложки использована картина художника Станислава Бычкова, отца автора книги.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть 1 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 16 |
| 4 | 20 |
| 5 | 26 |
| 6 | 30 |
| 7 | 33 |
| 8 | 39 |
| 9 | 42 |
| 10 | 46 |
| 11 | 50 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 51 |

Бычков А. С.

Переспать с идиотом

«И тогда сказал гром

ДА

Датта: что же мы дали?»

Т. С. Элиот

Часть 1

Рок

1

И, заметив эту странную женщину, он заметил как бы и себя – какое-то свое странное присутствие. Вот, он просто проходит мимо нее, а она просто сидит. Она сидела в зале, на задних рядах одна, среди пустых стульев, как будто ее забыли взрослые, они заняты, взрослые, но они непременно вспомнят и, конечно, за ней придут. А ей пока можно тихо посидеть в своем так вдруг открывающемся присутствии; на сцене представление уже закончилось, зато начинается во-круг – встают, скрипят стульями, разговаривают, разглядывают и, шаркая, шурша, медленно продвигаются к выходу и постепенно, толчками, выталкиваются из зала. И ей как бы открывается, что *это есть* – пустеющий зал, тихие стулья, пустая подслеповатая сцена, что даже важнее, чем сцена наполненная, хотя спектакль, конечно, еще клубится и о нем можно бы и поговорить, обсудить игру актеров, излишне резкий свет, решение режиссера.

Егор был уже в вагоне – среди других лиц, плеч и голов, и рук, держащихся за длинное блестящее и горизонтальное

сверху, короткое и вертикальное внизу, что не дает упасть при ускорении всего, при торможении всего, что было вокруг, что окружало, что было необходимым и чужим, странным и непонятным, зачем это все, и при этом, конечно, понятным, что это просто *внутри вагона*, что для всех это вагон метро, вид транспорта, как мысль и ее воплощение, так можно быстро попадать из одного пункта в другой через тоннель, а не тащиться еле-еле, разглядывая что-то по сторонам – дома, облака, деревья, собак, машины, столбы и маленьких сутулых прохожих. Уже давно гремел, смазывая, сбивая и разбрасывая по сторонам, поезд, а Егор все не мог забыть, как он вдруг заметил там, в зале, приятеля – белый, как анальгин, вспыхивающий и белеющий лицом, Сергей присел вдруг рядом *с ней*, и они так весело о чем-то заговорили, что от зависти или от чего-то еще Егор вдруг не выдержал и крикнул ему, выкрикнул его имя, чтобы взамен и его приятель вызвал Егора из толпы приветствием, дал повод внедриться в их веселый разговор, стать внедренным, стать одним из них, третьим, через свое мнение о спектакле, чтобы потом уже пить с ними, как один из них – джин, кофе, виски, сок – где-нибудь в баре, где можно продолжать весело болтать, шалить, быть может, даже, начиная и флиртовать с этой женщиной, взбалтывать ложечкой в бокале под ее смех и незаметно и упруго уже отталкиваться словами от приятеля, от его имени и присутствия, как на веслах, как на лодке, чтобы невидимо и весело приближаться, становиться ближе

в каком-то невидимом – к ней.

И что всего-навсего, будучи действительно познакомленным, действительно представленным, был почему-то отправлен в противоположную сторону, отправлен самим же собой. А они – женщина и Сергей – отправились по улице назад, как они сказали, что они пойдут назад, что им надо обратно.

Так, пожав приятелю вялую и потную руку, и слегка, и вежливо, с каким-то едва заметным намеком, поклонившись и женщине, что ему было очень приятно познакомиться, он добавил напоследок и «счастливо», как бы отпуская и их, и себя, словно бы уже легко поднимаясь на каком-то дирижабле, подарив это «счастливо» и себе, и им, что он такой легкий доброжелательный человек, каким он и должен спрятаться и остаться в ее памяти, если, конечно, она о нем вспомнить сообразоволит, когда, засыпая...

... же продолжает громыхать, подпрыгивает пол, и плотнее и плотнее садятся, и плотнее и плотнее встают, вжимаясь и прижимаясь, и чьи-то волосы, руки и очки, и чья-то неудобная нога, и дурно пахнувшая подмышка, и нажимаешь, чтобы протиснуться и почему-то не протискиваешься, никак не можешь, и дурно пахнувшая подмышка как будто не понимает, что раз ты надавил, то, значит, тебе надо, ты же надавил не просто так, тебе надо протиснуться к двери, и тебе надо дать возможность протискиваться и дальше, и для этого надо отжаться, придавая за собой почти незаметную полость, куда уже, исходя из напряжений, может протиснуться твое тело,

как и любое тело протискивающегося, то есть в данный момент тебя, потому что уже налетает за окнами светлая просторная станция, на которой тебе надо выходить, а до двери еще четыре пассажира.

– Счас не сойдете?

– Нет.

– Позвольте.

– Осторожнее!

– Извините... Вы не выходите?

– Нет.

– Разрешите.

– Куда ты так лезешь?!

О, это мучительное проталкивание, неизлечимое, как агония, дергание, бесконечное всовывание и просовывание, сначала бока или плеча, бедра, и уже подтаскивание и собственно себя как груди, живота, таза, подпираемого снизу тазо-бедренными маслами, через коленные суставы и голени они выходят в ступни на ботинках, а те уже, в свою очередь, упираются в пол. Не касаться других голов! Ну разве что случайно, по чужим волосам – бр-рр! – или совсем нечаянно по чьему-то носу.

– Да осторожнее же!

– Простите.

– Где ты раньше-то был?!

– Извините.

– Совсем уже!

И, наконец-то, двери, да, двери спасительные и – черт! – захлопываются, и разжимаешь из последних сил и еле-еле вырываешься, что вот уже как родился, оторвав пуповину хлястика у плаща, вырвался на полный свежий вздох, вывалился на пустой перрон. А набитое битком потными пассажирами жарко-душное тело поезда, исполненное озлобленных взглядов из-за окон, надсадно и надменно загудев, уже массивно вдвигается в тоннель, и вот уже все быстрее и быстрее, легче и легче – в черную дыру, исчезает, как будто ничего и не было.

И поздно вечером, когда уже ложился спать, когда уже и засыпал, уговаривал самого себя расслабиться, что левая расслабляется и что правая расслабляется, и что его самого – Егора – расслабляет глубочайшее, расслабляет глубоко, очень глубоко, до самого глубокого, он словно бы пытался ухватиться за соломинку, загадывая, чтобы ему приснилась та женщина, да, та женщина. И все боялся сам себя себе выдавать, хотел обмануть сам себя, как будто не хочет, чтобы она ему приснилась, как будто тонко, очень тонко знал, что хвататься за соломинку бессмысленно и что жать в сновидение нельзя, что сон – это же не вагон.

2

Увидеть себя в зеркале, как она бархатно похожа на лису. Какие у нее светлые пушистые волосы, которые накануне вымыла шампунем, что придает им нужный блеск. Какое у нее красивое тонкое лицо и тонкий, слегка удлиненный, как у лисы, нос. И совсем непонятно, откуда тогда это настроение, которое она вот-вот уже готова назвать по имени плохому, хотя и непонятно из-за чего. Проснулась вроде сама по себе, а не из-за этой собаки бездарной с верхнего этажа, что вдруг начинает носиться по потолку и играть резиновыми костями.

И вдруг опять, как бы не назвать, что, несмотря на это, нравящееся себе в зеркале лицо, нет-нет, это, конечно, неправда, но, что как будто там, за лицом, в глубине, – какой-то невидимый изъян, где-то ближе к горлу, вниз, да, как какая-то мистическая железа, и из-за нее – несварение внешнего, этого дурацкого, неудобного и по сути своей неправильного мира. И в отличие от других, *Бронкси*, почему-то до сих пор не знает, как ей в этом мире быть? Просто самой по себе, без чьих-то мнений, без собак, без напирających и что-то постоянно советующих. Может быть, в душе ее угнездился какой-то порок? Хотя иногда все вдруг само собой отступает – и собака на потолке, и прижималы в поезде, и таджик с трещащей аэрометлой, мимо которого она каж-

дое утро спешит на остановку, и даже ненужный дурацкий Платон, по которому надо сдавать зачет, городить в себе какие-то бесконечные сущности, громоздить идеи, разбираться в диалогах, каких-то многоэтажных, как торговые центры, чтобы всего-навсего осознать что-то совсем неглавное...

Она припомнила, как вчера она сидела в зале, и уже кончился спектакль, и Сережа побежал в гардероб, занимать очередь. А она сидела одна, и ей было так хорошо, что даже непонятно почему. Может быть, потому, что она *все* видела, и это *все* было настоящее, и встающие зрители настоящие, про каждого из которых она читала на его лице – хороший он или плохой, например, вон тот, любит ли он жить или он всех презирает, считая, что самый умный именно он, и потому так и поглядывает из-под очков и говорит фальцетом, высоко закидывая голову и выставляя вперед нос, чтобы слушала его и его курочка доброжелательная, с правилами маленьких. Или этот, другой, грустный дядька, он думает, что ему понравился спектакль, а на самом-то деле спектакль ему совсем и не понравился, и не знает дядька, что в этом он совсем и не виноват, потому что это спектакль такой... такой... какой-то... не такой.

И тут Бронкси спохватилась, что она уже давно опаздывает, и при этом, опаздывая, все еще продолжает разглядывать себя в зеркало, что у нее такое красивое лицо, хотя она, конечно, и дура, и зовут ее совсем по-другому, а Бронкси – это она всем так представляется, – и что ей надо скорее-ско-

рее накраситься, скорее-скорее напудриться и скорее-скорее тонко брови подвести, чтобы никто не догадался, что она дура, и особенно профессор, чтобы уж лучше бы он влюбился в нее и исчез, провалился сквозь землю со своим Платоном, со своими идеями, со своей пещерой, что она ни черта не поняла, что он там объяснял.

И так и не позавтракав, она предпочла исчезнуть из своих мыслей и превратиться в чистое действие, для начала нарисованное в маршрутном такси: как надо неудобно нагнуться и протянуть, высунуть из рукава голую руку с нагретыми монетами в пальцах, и так, балансируя с рукой и наклонившись, пока шофер не переключит передачу и не протянет руку свою, как египетский фараон, ладонью кверху, как будто он так здоровается и что ему надо быстро-быстро положить, пока они все вместе не наехали на «лежачего полицейского» и снизу не поддало, а потом еще раз поддало и задними колесами, а еще эти быстрые шоферские глаза в зеркале, что шофер заметил, она же красивая, и оттого и перевел взгляд на огромный красный фонарь, светофор с щербинкой, что почему-то все горит и горит красный, но скоро загорится и зеленый, а так хочется, чтобы голубой, как на елочном шаре. А потом надо идти против ветра до метро, прижимая ладонью хитрое платье, чтобы опять же не обнажилось и не заигралось на *стыдно*. Идти, глядя, как тени одних прохожих карабкаются на тени других, и думать – *да ведь также и люди*. И что, похоже, было уже не совсем чи-

стым приближением к метро, а как будто начинал сдаваться и зачет. Но уже раскрывались перед ней вращающиеся двери, двери-стрекозы – как она, почему-то отчаянно сопротивляясь этой реальности, и про себя о них говорила, – хотя двери и совсем не были похожи на стрекоз и уже бесстрастно вращались, пропуская ее в нечто, что на языке идущих вместе с ней на смерть (а она почему-то всегда ужасно боялась умереть в метро) называлось красивым словом «вестибюль» – таким просторным и прозрачным, – где в последний, быть может, раз пронизывает карнизы солнечный свет, печатая на озабоченных лицах трогательное и волнистое, играющее и стекленеющее отражение, что ты опять спустишься в это *электрическое вниз*, и что где-нибудь опять да и возникнет прижимала и как будто нечаянно попытается потрогать, гад, что от возмущения ты забудешь даже и про страшный черный чемоданчик, и про черную-черную бесхозную сумочку, что там что-то так странно тикает... за попу!.. и, отстраняясь с возмущением, вдруг быть настигнутой идеей, что, конечно, надо влюбить в себя профессора, конечно, во время выбора билета, чтобы он вдруг увидел ее всю, и тело ее, и лицо ее, и груди в вырез платья, и уже тогда, во время ответа на билет, обрушить преподавателя в бездну незаметным касанием своей божественной ноги, чтобы чертяка уже не слушал, что она там говорит, что она там ему несет, какую чушь, что она, собака, совсем не читала «Тимея», что она, падла, не читала и «Феага», и ни «Алкивиада I», ни «Алкивиада

П», ни даже «Апологии Сократа», не говоря уже о «Пире», даже и не открывала, сучка. И вы еще на что-то рассчитываете, мур-мур, простите, мадмуазель? Два, два и только два! Единица!! И никаких прихожих, слышите никаких диванов, слышите, и не надо меня уговаривать, я вам говорю, выйдите из аудитории на следующий год!

3

Мчащийся в машине в никуда, что Егор мчался в никуда, мчался в нигде, может быть, даже и по Кольцу Садов, что, быть может, так Егор выдумывал сам себя, как и все люди, которым почему-то страшно не хватает реальности, хотя под ногами были упругие педали и рядом твердые рычаги и руки держали руль в шершавой оплетке. И были опасности, что можно врезаться в пешехода или в наезжающий слева грузовик, и все же все это было *не то*. Это была какая-то другая опасность, отчужденная и безличная, а Егору хотелось своей, которую достаешь как бы из себя, что она есть сокровенная часть себя самого, что просто отражается вовне, и которая сказала бы ему, шепнула тихо, Егор, *я твоя опасность*, как та женщина, да, та женщина, которая так тихо сидела в зале, а потом так загадочно засмеялась в фойе, и глаза ее оставались какими-то неподвижными и сияющими, словно она смотрит какой-то сияющий кинофильм или спектакль, который отражается в них, и Егор как будто оказался в каком-то внезапно открывшемся пространстве, что он, Егор, – *просто есть*, и даже шарканье ног, и спины других, и низкая на низких ножках толстая гардеробщица-контролер в выпуклых интеллигентских очках с крупными аквариумными линзами, со сломанной дужкой оправы, примотанной черной резинкой от бигуди, как будто Егор был

для нее каким-то открытием мира, освещением мира, потому что белый, как анальгин, аспирант с белым болезненным лицом уже знакомил его, как по ту сторону реальности, с этой женщиной, которая как будто дала ему свое странное имя, что потом, всего-навсего представившись и сам, он сказал ей «счастливо», потому что ей надо было с Сергеем назад, а ему – как бы дальше.

Он остановился где-то и вышел из машины, как через ее имя, что оно ждало его так долго, как во сне, и, наконец, раскрылось, пропуская его через себя.

Бронкси.

Это и вправду была весна. На улице было тепло. Через переулок виден был парк, и парк позвал Егора. Листьев на деревьях еще не было. Парк встретил Егора грязными пустыми, поломанными кое-где ветками, прошлогодней листвой под ногами, черными целлофановыми пакетами. Но по полянам, несмотря на раннюю весну, уже расположилась публика с мангалами и шампурами. И, проходя мимо, Егор углублялся все дальше в парк. И теперь навстречу катилась девочка, белые ролики на ногах и пушистые синие наушники на голове. Она улыбалась Егору неровными щербатыми зубами. «Вот я и говорю», – говорила ее бабушка своей подруге с высоким ортопедическим воротником, с которой она шла под руку вслед за девочкой по аллее. И подруга, поворачиваясь вместе с головой в высоком воротнике, указывала на одно далекое место, где уже зеленела трава, и говорила: «Потому

что теплоцентрально». А из-за деревьев уже открывались пруды.

Лед был еще грязный, свинцовый, но по краям уже отступающий, сахарный. В легком кресле на самой середине первого пруда одиноко сидел рыбак. Он словно читал какую-то книгу, как будто бы рыбе, которая ждала его чтения с открытыми глазами вблизи дна и ожидала невидимо его слов через раскрытую полынью. А вдоль берега на Егора уже наплывал таджик в белой шапочке, а за ним два старика. Дальше, как на картине, открывался второй пруд. «Если бы я был Ельцин», – сказал один из стариков, проходя мимо Егора и многозначительно взглядывая на него.

В протоке между прудами льда уже не оказалось, и быстрыми струями бежала, как причесанная, вода. На протоке, стояли другие рыбаки.

Егор поднялся на мостик, оставляя рыбаков внизу. Спустившись на другую сторону, он пошел дальше. И через черную решетку забора ему навстречу уже лез какой-то мертвый куст с маленькими бубенчиками прошлогодних засохших цветов, словно бы именно Егор мог совершить чудо и оживить его. Егор догадался, что это куст сирени, и бубенчики-скорлупки совсем не бывшие лепестки, а, наверное, какая-то другая, засохшая, кожица, из которой лепестки когда-то появлялись. Он только попробовал потрогать их, как за забором, в глубине, привстал со сломанного стула крутомордый вахтер и прикрикнул на Егора, чтобы размять гор-

ло, потому что ему было, наверное, скучно, а уже была весна, тепло, и хотелось пива и двигаться. Но Егор уже проходил мимо виллы все дальше и дальше, через парк, на другую шумную улицу, где уже раздавался треск мотоциклов, словно бы мотоциклисты проснулись внезапно от зимы, как шмели и мухи, и теперь их мотоциклы весело тарахтели, а их девчонки, усевшись сзади на высоких пассажирских сиденьях, гордо шныряли глазками по сторонам. И Егор весело подумал, что, наверное, их везут на квартиры, а, может быть, на квартиры и ближе к вечеру, а пока просто катают, чтобы внизу у мотоциклистов сладко сосало чувство опасности и что, чем быстрее полетят мотоциклы, тем, конечно же, слаще будет сосать. Глядя на девчонок, он и решился позвонить аспиранту и через фразы затейного как бы ни о чем разговора незаметно проникнуть, пробраться *к той женщине*.

Бронкси уже закусывала зачет брынзой, она уже надежно отправила профессора в ад (бедняжка загляделся на ее коленочки), но ведь и в «Тимее» было, однако, странное место о некоем третьем начале, которое непонятно, как и истолковать. *Хора, что ли.* И тут она вдруг снова вспомнила про то, что ей рассказали по телефону, как Сергея сначала ударило, а потом подцепило, как будто бы даже дугами троллейбуса, что он, говорят, как будто взвился, кошмар какой-то, и – на-вылет током, а может быть, это были и сами провода, и они сами не выдержали напряжения и разорвались, убив током попавшего в разрыв Сергея, что там было пятьсот пятьдесят вольт, и что наехало и сбilo его уже потом, и что он все же оказался вдруг так странно жив, Сергей, жив, и даже, говорят, сам в реанимации пытался освободиться от аппарата искусственного дыхания, хотя, конечно же, без легких ему была бы смерть, если бы не медсестра, благая девушка в белом халатике, которая неслышно, как в ночи, скользнула в палату в тот самый миг, Бронкси, это, конечно же, была ты, то есть, конечно, это была не ты, но так почему-то тебе представилось, и, очень может быть, что это представление и происходило от той самой мистической железы, из-за которой происходило несварение внешнего мира, как будто это именно она, Бронкси, не дала освободиться Сергею от желтой гоф-

рированной трубки, по которой качалась аппаратом уже наполовину искусственная жизнь, что он, Сергей, конечно же, был безумно влюблен в нее, что решил изувечить себя среди троллейбусов из-за неразделенности своей любви, а теперь на грани еще и профессор, как будто подсказывала железа, и что надо ехать в больницу, да-да, быстро в реанимацию. Только вот – что есть реанимация и в чем ее суть? В вечном возвращении? Конечно, конечно, невидимо закивала Бронкси где-то глубоко в себе, ведь Сережа меня любил. А с чего ты взяла, что он тебя любил? Как?! И тогда брынза побелела в пальцах, и в гофрированную трубку, через которую она как будто видела сейчас его, Сергея, отжатое пальцами лицо, дикие фиалковые глаза и раскрытый полуразорванный рот, как он говорил, так трудно гландами, что рано или поздно он докажет им всем, что это неправда, что он в своем ничтожестве ниже всех, ниже воды и земли, и как раз потому он и собирается пересечь Садовое кольцо в неполюженном месте, что так он смог бы возвыситься – в собственном лице, в собственном имени и в собственном открывшемся ему знании...

«Впрочем, все не так плохо», – успокоила свое разыгравшееся воображение Бронкси. Зачет был сдан, профессор зацеплен и как бы подвешен на корточках за свои эротизмы, а Сергей был все же жив, хоть и в реанимации за стеклом, и это просто размозгованный мозг, усталый от перенапряжения, творит черт знает что, а тут еще и собака всю ночь играла на

потолке с резиновыми костями, которые ей понакупили эти экономисты во Франции, в Германии и в Англии, потому что наши не выпускают, наши, увы, не выпускают резиновых, а все ждут каких-то настоящих.

И тут Бронкси вдруг почувствовала, как она невероятно устала, и от зачета и от этих страшных новостей, и что ехать в больницу нет у нее никаких сил. Она сидела в каком-то кафе со стеклянной стеной, сидела за стеклянным столиком, через который ей были видны ее же коленочки. И глаза ее уже слипались от какой-то невероятной усталости. Краем глаза она заметила, как за соседний столик грузно осаживается огромный господин с черной шерстяной бородой и с блестящими едящими глазами, и что из огромного пергаментного кулька его торчат четыре бутерброда с сыром...

«Два из которых с колбасой...»

Она улыбнулась игре своего воображения, веки ее слипались и она устало откинулась на спинку стула, закинув назад и руки. Откинула голову, обнажая шею...

«Сережа умер».

Она разом открыла глаза. Вокруг было все то же кафе. Скрипел под подошвами кафель, стучали ложками, вилками. За соседним столиком сидел все тот же господин. Смачно закусывая из кулька, он рассматривал ее в упор.

– Вам что-то привиделось?

Она попыталась встать.

– Мне, наверное, нужно идти.

– Возможно, – сказал он, прожевывая.

И Бронкси поднялась.

«Нет у меня сил на реанимацию».

Был полдень и солнце стояло высоко. А из-за горизонта, вырезанного в башнях многоэтажных домов, вырезанного, как из картона, словно бы это был совсем и не горизонт, а просто какая-то изломанная линия, наплывала туча. Ближе к ночи опять обещали снег, хотя было понятно, что март необратимо наступил, что уже тепло, проснулись мухи, и даже шмель, пьяный, как его видела Бронкси, как он туда-сюда дергался, не понимая, как это он так проснулся и где оказался, что засыпал вроде в жухлых кустах, в долгой норке, а оказался с сюрпризом среди каких-то домов, почти под носиком у молодой симпатичной женщины.

– Кыш, кыш, – ласково отмахнулась она.

Зачет был сдан, в реанимацию – нет сил, но и возвращаться домой не хотелось. Небо было уже только наполовину голубое, а на другую – сине-черное. И солнце встало ровно посередине, и там, и здесь, сияя на голубом и прожигая темный край быстро надвигающейся тучи.

– Послушайте! – громко сказал за спиной бородатый господин, догоняя Бронкси, как будто он шел за ней давно. – Вы забыли книгу!

Бронкси обернулась, изображая на лице своем презрение. Но это действительно оказалась книга, это оказался ее Платон, в красном переплете, со своими диалогами, что она хо-

тела что-то такое уточнить правильно ли она ответила профессору, как это называется – *хора* или *рахо*? – и забыла томик на соседнем стуле.

А бородатый господин, передав ей книгу, вдруг грациозно на цыпочках развернулся и легко, как на пуантах, побежал в обратную сторону, даже и не попрощавшись и не дослушав «спасибо», которое Бронкси уже ему проговаривала.

«Хора, да, это называется хора».

Она открыла страницу на закладке:

«...влажнелеющая и пламенеющая, и земли и воздуха формы принимающая, и их страданиями страдая, следует, являет себя всемерно разноликой; ни одинаковыми, ни уравновешенными силами наполняется и сама их не уравновешивает, однако, аномально во все стороны балансирующая, сотрясается, и ими движимая, их же самих и трясет»¹.

Сине-черная туча заглатывала солнце, светило еще немного подергалось пойманным яичным желтком, попыталось было просочиться, и – уже окончательно затемнилось в утробе непонятной темноты. И тут вдруг ни с того, ни с сего закружились крупные свежие снежинки, и все чаще и чаще, и уже повалило на удивление сплошняком, хотя обещали ближе к ночи. А потом задуло и холодным, и белое уже не чернело, не истаивало на тротуарах, а ложилось какое-то совсем свежее, совсем белое, совсем новое, будто обратно

¹ Платон, «Тимей».

приехала зима и сказала «здрaсте», как какой-то нарядный обоз, вернувшись на деревню. А на самом деле это садился и садился новый снег – на деревья, на фонари, на черные волосы удивленных прохожих, что вот как интересно, только что теплынь, и вдруг снегопад, а обещали ближе к ночи, хотя и так ясно, что завтра растает.

Через пару недель он все же собрался позвонить Сергею, чтобы как-то разузнать о ее – Бронкси – следах, какие она оставляет в реальности или где-либо еще. Знает ли Сергей хотя бы, в какой части мира? Нет, нет, он не про номер ее телефона. Нет, нет, он не собирается ее искать, речь, скорее, о каких-то ощущениях, растягиваемых, как на тонких нитях, да, как паутина, все дальше и дальше. Речь о каких-то расширениях, но не до конца, а если и о знании, то о сверкающем бессмертно, о незыблемости, рассеянной на звездах, в черных долгополых полях. Что все эти слова, скорее, как-кая-то гордая фантазия, и не стоит принимать их за дикое и даже дичайшее вранье, ведь Сергей знает, что у Егора нет и никогда не было никакого аккаунта ни в каком фейсбуке, потому что Егор презирает фейсбук, там же ловят и пригвозждают, как бабочку, к некой коллекции *известности*, а стало быть, уже и не жизни, с каждым комментарием или постом все больше определенности, и так постепенно становишься, как вещь, опредмечиваешься, как зубная паста и прочие предметы, которые, впрочем, тоже могут быть почти и невидимы, что они будто бы чистят свой образ от недействительного, что они в своей определенности есть, а, значит, отпугивают неопределенное. Но ведь в то же время отталкивается и легчайшее и, если угодно, божественное, та

неизвестность, в которой Егор всегда так хотел скрыться, та неопределенность, в которой он искал и надеялся найти внешне приоткрывающееся присутствие, где никакие люди и никакие предметы, даже если они близко, уже не будут способны помешать, потому что теперь у них уже не будет как бы имени себя, и от них останется словно бы лишь одно прилагательное, безотносительное и не располагающее ни к чему. Что та женщина, да, та женщина, с которой ты, Сережа, меня познакомил... Но разве все это можно рассказать словами, рассказать тебе, у кого уже есть имя, рассказать тебе – Сергею, и разве это не безумие? Тебе будет легко искать и найти в этом ложь, попытаться выпрямить эти мои корявые фразы, как выпрямляют проволоку, и ты догадаешься, что мне все же нужен ее телефон, да, просто номер телефона, и что в этом я ничем не отличаюсь от других мужчин, и ты рассмеешься, что это, как на приеме у врача, который говорит «снимите» и который говорит «покажите», и каждый снимает и открывает и показывает, как будто бы не себе, а просто что-то свое, что должно, а почему-то не может, что просто дало сбой, как будто бы не открывается аккаунт из-за связи, что вовремя не оплатил провайдеру, а провайдер, в отличие от некоторых, опытный и серьезный человек в очках, или, что даже еще лучше, еще гуманнее, – даже и не человек, а некий гуманитарный процесс, растянутый во времени и засчитывающий наличные в некоей обезличенной форме, и эфемерно и в то же время сущностно зачисляющий

на счет...

«Как же сказать?» – все пытался открыть в себе Егор, мучил как что-то невидимое, что-то совестливое, не называя на словах, стараясь все же не признаться, чего же он хочет на самом деле. А ведь с некоторых пор он думал, что наконец-то ему уже *ничего не надо*. Может быть, он и обманывал себя со своим желанием забвения? Он никак не мог разрушить воспоминания о своем первом браке, а вместе с ними и ту определенность своей жизни, от которой он бежал, как от матери, не понимая, почему это именно она его родила, как он боялся, что каждый раз она вдруг снова позвонит и настигнет его, что все сразу станет снова таким узким, таким известным и безжалостным, таким банальным и даже пошлым в своей определенности, как она представляет себе его, своего сына, как она надеется, что он и есть или станет таким, как она его представляет – больным, с его больным воображением и больным глазом, что у него давно уже болит глаз, а не, например, как у других, горло, что ему надо бы записаться ко врачу, чтобы тот посмотрел и просветил ему хрусталик, исследовал роговицу, потому что если глаз даже и не болит сейчас, то непременно может заболеть когда-нибудь, и очень может быть даже, что и ночью, однажды, как у его отца, которого Егор, кстати, никогда и не видел, потому что он, его отец, куда-то вдруг делся сразу после того, как родился Егор, дал ему, Егору, имя, и куда-то исчез – растворился, как сказала подруга, в реальности, – хотя и был очень

даже неплохой человек, интеллигентный такой человек и даже когда выпивал... «А та женщина, которую ты, Егор, почему-то так хочешь разыскать, что ты должен ее сначала найти, а перед этим познакомиться со мной, со своей матерью, которая, как известно, везде, как центр той окружности, которая сама нигде, и от которой ты так безуспешно пытаешься спрятаться, ну или познакомиться меня с ней позже, потом уже, можно даже после...».

6

Женский голос ответил Егору по телефону, что Сергей мертв. И словно нагим и никчемным Егор был как будто выброшен в пустоту, из которой только и состояли теперь вещи в комнате. В своей бессмысленности они становились все ближе и ближе – *так все и должно быть*. Оправившись от бесконечной паузы, мысль Егора словно бы подумала его самого, что так, наверное, захотел бог, если, конечно, он есть, а если его нет, то, значит, так захотело само отсутствие бога – что ему, Егору, не суждено встретиться *с ней*. И оттого еще ярче и прекраснее стала его боль, что он уже никогда не родится для счастья. Он даже и не расстроился из-за Сергея в этот миг, а, скорее, разозлился на него, что это насмешка судьбы, что он, Егор, так и останется в нигде. «Но ты же так и хотел – быть в нигде и никем, – усмехнулась тогда его мысль, – лишь бы не быть где-то и кем-то». Он словно бы мстил сам себе. А может быть, и что-то темное и непонятное возвращало ему то, чего он хотел раньше.

Он спросил, что случилось? И она ответила ему. И Егору вдруг захотелось спросить у той невидимой женщины еще что-то очень и очень важное. Но, догадываясь, что он поступает неправильно, что не спрашивает сейчас, он почему-то так и не решался спросить, как будто спросить – означало бы открыться перед чем-то очень и очень важным, рискнуть

собой, зная о своей слабости. Он боялся поражения? И, догадываясь, что он, конечно же, виноват сам, что совершает *это* над собой, и что *это*, скорее всего, преждевременно, и что его никто не торопит, Егор сказал «простите». И хотя он догадался, что это, конечно же, *она*, *Бронкси*, он почему-то убеждал себя сейчас, что это *не она*, а скорее всего, соседка или мать. Но голос собеседницы был довольно молодой, и не такой печальный, как, наверное, должен бы быть у матери Сергея. И когда он уже решился быстро и необратимо нажать на кнопку разъединений, то вдруг все же почему-то спросил:

– Это Бронкси?

И женский голос ответил:

– Да.

И тогда он сказал:

– А это Егор... Помните, в театре?

– Помню.

Она молчала и ничего больше не говорила. Егор немного помедлил и сказал:

– Может быть, мы... как-нибудь еще с вами увидимся?

– Не знаю, – сказала она.

– Я бы хотел вас увидеть.

– Зачем?

– Я часто вспоминаю ту нашу встречу.

– Какой смысл?

– Нет, наверное, никакого... Но ведь жизнь бессмысленна.

– Вы уверены?

– Боюсь, что... да.

– Тогда зачем встречаться?

– Может, поэтому и стоит.

– Боюсь, что... нет.

Егор молчал, он ждал, что она скажет что-нибудь еще, продолжит. Но она ничего не говорила, и как будто тоже чего-то ждала. Молчание надвигалось неизбежно. И, надвинувшись уже широко, стало широким, как в ночной темноте, как река, что относит и относит все дальше от берега к нарастающему на середине течению. Что теперь от пристани уже далеко, что даже если и крикнуть, то все равно не услышит никто, даже если там кто-то еще и остается.

– Я давно уже существую... – Егор медлил. – Между «да» и «нет».

Он ждал, что теперь она хоть что-нибудь скажет. Но она почему-то по-прежнему молчала. Как будто затаилась там, на другом конце.

– Жаль, – сказал он.

И она почему-то опять не ответила.

И тогда он сказал:

– Ну что же... Всего вам самого доброго.

И разорвал связь.

Снова он был один, и снова он был никому не нужен. Он был брошен по-прежнему в своей брошенности.

И тогда профессор сам себе намазал на хлеб и сказал: – Хм... Бронкси.

Был он вполне реальный, в отличие от некоторых, человек, и по понедельникам занимался боксом. А был как раз понедельник. Профессор пораньше освободился от зачетов, и чтобы не терять времени, уже быстро проглотил сыр, положил боксерские перчатки в спортивную сумочку и отправился избивать других мускулистых мужчин, которые даже и не догадывались, что их избивает профессор.

Но – «хм... Бронкси» – все не шло из головы его. По ведомости она была Бронниковой Ксенией, но студенты называли ее Бронкси. И теперь ему почему-то страшно захотелось запендюрить Бронкси по полной. Зазудело на троллейбусной остановке, где профессор, оттолкнув какую-то бабу, влез первым в переполненный салон.

Да нет же, он никого там не лапал, он никогда не был прижималой, у него был свой внутренний императив и был свой орган мозга, смотрящий через органы глаз и через троллейбусные стекла на сияние солнца. И можно было бы даже сказать, что профессор с детства никогда не моргал, приучая себя к нестерпимому сиянию вещей, как и к расплавленному озверению ума, что и сам Платон был борец, голый по пояс, и, между прочим, даже побеждал на Истмийских общегре-

ческих играх.

«Бронкси... хм...» – однако зудело и продолжало зиять, что профессору даже захотелось дать кому-нибудь в зубы, и чтобы она, Бронкси, увидела, узрела это *давание в зубы* этим его огромным кулачищем.

Нет, нет, он не признавался, брр-р-рр, не признавался, что движется куда-то вниз, что под троллейбусом уже разверзается какое-то зыбкое нечто, что как будто это разъезжается даже и не нечто, а ничто, в чем ничтожится он сам. Наоборот, он вспоминал, как на прошлой тренировке двинул тренера в челюсть так, что тот отлетел в красный квадрат. Тренер, чемпион мира среди юниоров, двадцать лет спустя, как Александр Дюма, и чемпион Европы, десять лет спустя, среди клубов железнодорожников, не ожидал такого мощного продвижения по дуге, красивого такого удара, озаряющего звоном. «Как голубое, – говорил тренер потом в раздевалке, – как будто колоколом накрыло». Рассказывал, хорошо помывшись под душем, подраив подмышками железной мочалкой, подаренной ему брюссельскими железнодорожниками. В соседней кабинке мылся профессор под струями и тер, скреб ногтями свою волосатую жестяную грудь, потому что мочалку забыл и теперь только мылился мылом и гоготал от удовольствия мыслить иначе под струями, что тренер его истинно любил, и даже в его ударе, что тренер Александр одобрил дугу, которой сам же его и научил, что у Женьки (а в секции профессор был просто Женькой, это за пределами ее

он именовался как Евгений Леонардович), так вот у Женьки очень сильная левая дуга, гораздо сильнее правой, и что боковым слева Женька мог бы завалить и слона, если бы, конечно, он пошел в зоопарк и ему бы открыли клетку и разрешили драться со слоном. Так шутил тренер и под струями, шутя, все не мог очухаться от Женькиного удара. А профессор рядом, в струях принимался к подмышкам своим, что все еще пахли, потому что волосы подмышками были, как и у тренера, как железные, и ногтями без мочалки было трудно сдирать с них пот мужского накопленного бокса. Во всяком случае, это было яркое ощущение попадания, куда надо по дуге, и от ощущения этого вполне можно было бы восходить, как какой-нибудь Сезанн, к искусству художественной мысли.

И тут пол троллейбуса опять задрожал мучительно, что почему-то «Бронкси, хм, Бронкси» вновь завращалось и закрутилось вокруг профессора, и мучительно соблазнительные ножки ее, и голое на животике, и остренький носик, что сама такая, наверняка, мягкая, но со скрытой остренькой изюминкой, о которую хочется порезаться с наслаждением, как однажды в детстве профессор порезался об осколок стекла и смотрел, как вытекает кровь его из большого пальца, что ему захотелось порезать себе и грудь, и локти и изрезаться всему самому, чтобы что-то доказать своим школьным товарищам. И тут уже дало вертикально, что ясный ум профессора осознал, что это же троллейбус как-то неправильно

тормозит, что его заносит по какой-то огромной дуге, что все сыпятся в проходе, стоящие на сидящих, и что какая-то огромная баба с огромным раскрытым от ужаса ртом, дико дыша, уже наваливается него самого, сука, со своим ртом, со своими свиными глазками и давит, наваливаясь огромными паровозными грудями, словно бы была женой железнодорожника.

Этот был странный, словно бы солнечный, удар. Бабу смахнуло, Евгений Леонардович оказался лицом к лицу со своим отражением на троллейбусном стекле, сквозь которое открывалась бесконечность блеска машинных крыш, как будто некая колония жуков организованно переселялась на закат солнца, организованно и в то же время бессмысленно. Пол троллейбуса, выскальзывающий вдруг из-под его ног (вместе с его привычным образом мысли), словно бы приоткрывал ему и другую возможность – помыслить сразу все: и слепую гигантскую волю императоров, заворачивающих дорогу на закат, и желание видеть Бронкси, приподнимающее его, как на тонких спицах последних солнечных лучей, чтобы там, в глубине его желания, открылось и нечто другое, гораздо более верное, не только эротизм, не только близость, а как молния в сердце, как неизбежная гибель в авиакатастрофах, ибо многие в падающих и еще не разбившихся авиалайнерах умирают от инфаркта, а еще и в переворачивающихся троллейбусах... и весь этот хаос и сумятица чувств, сумбурных мыслей, желаний и чистой-чистой люб-

ви, а не только про раздвинутые ножки, и что есть еще и глубокий кристальный взгляд, что надо взять и привязать сердце Бронкси, как должно быть разрушено, потому что речь о чем-то большем, а не только солнечный удар, потому что оседание без времени, и мир раскрывается один раз, и смерть часто совпадает с каким-то странным звуком, ибо человек, воздетый сейчас, воздвигнутый сейчас на пантографах, вознесенный в искры разорванных проводов, в котором Евгений Леонардович вдруг с ужасом узнал аспиранта, того самого аспиранта с соседней кафедры, который всегда с ним ввязывался в спор, пытаясь доказать, что нет никаких дословных истин, и что речь это и есть истина, и вот *сейчас* профессор не мог не восторжествовать, ведь сейчас, *без слов*, он так ясно видел взгляд бедняжки, устремленный в глубину его, Евгения Леонардовича глаз, что как будто ток уже бежит и дрожит ток, дергается и вибрирует и в нем самом с каким-то странным звуком, ток невероятной открывающейся глубины и ясности, как именно *нечто бессловесное*, играющее само по себе, со всеми и со всем, как букварь без букв, как играет сейчас и с ним, с Евгением Леонардовичем посредством этого взгляда и звука, и аспиранта, рушащегося обратно на тротуар, разбивающегося об асфальт, в разверзающееся пространство их обоюдного, в обе стороны вглядывания, что ничего и нет, нет никаких слов, и только промежутки, по ту сторону каждого, как в горах, как озера высокогорные, что уже поднялись из глубин и что уже изли-

ваются в одни реки.

Этот тотальный бессвязный какой-то опыт, однако, предопределил и выбор театрального представления, на которое профессор как-то, недели через три, решился-таки пригласить Бронкси. Он хотел пригласить ее на какой-нибудь классический спектакль, ясный и солнечный, где действует героиней, который даже если и погибает, то, конечно же, ради своей чистой и ясной любви. Это в реальности чье-то смятое, подмятое под себя в постели тело, является словно бы добычей охотника, ибо оно – мотив другого, феноменального мира, мира, так сказать, кожи, где идеальному места нет, потому что здесь – на земле – идея, ну, например, идея любви часто проявляет себя как крэкс-фэкс-пэкс-мэкс некоего Карабаса Барабаса и одноместного Буратино женского рода, пусть даже и с длинным носом, что не так важно, ибо попал, как попадает в лузу и шар в бильярде, как в боксе лицо, что секс – это некая современность, где все друг в друга попадают, как в пальто, которое нравится, оно модное, и мы тоже попадаем в его рукава, и его можно носить, а не только разглядывать, но и вместе появляться в фейсбуке на фотографиях втроем с молодой женщиной и с пальто, с ее слегка удлиненным, польским, как у лисы, носом, аспиранткой-по-ногам, как у Канта, потому что все, в боксе, решают ноги, кто двигается быстрее, тот и выигрывает, да и сам

бокс и его, бокса, тренер Александр, посланный в нокаут собственным учеником, что его послали в нокаут, и он попал в нокаут, и вдруг, как разъезжающаяся засада, как из кустов, разъезжающихся в разные стороны, как ворота, что это все не более, чем театральная декорация, вимбильданс бреда, пусть и нашего, русского, где все друг друга выдумывают, даже какая-нибудь и опера, куда он, профессор, уже почти решился ее, Бронкси, пригласить, чтобы завоевать ее сердце как мужчина, а не как профессор, нарушить нормы морали, что он старше ее на тридцать лет, и разменять это попадание на эротику, и, почти уже покупая на «Отелло», как на крик смертельно раненного любовью самца, предпочитая «Отелло» «Королю Лиру», что, может быть, и слегка не сойдутся концы, но зато там будет много про любовь, Евгений Леонардович уже доставал из кармана тысячные купюры русских денег с вытесненными православными храмами и с электронной защитой, как вдруг ему словно бы кто-то шепнул, тот самый, взвившийся на пантографах аспирант, что это опера про негра, а для нас, для русских нужна пьеса про русских, что и взгляд профессора сам собой обратился вниз на незаметную афишку, где было написано, что в воскресенье – вольная инсценировка по мотивам русской классики – Достоевского, Гоголя и Толстого – и что играть ее будут актеры непрофессиональные, и даже не вполне нормальные, что они как бы слегка не в себе, и потому содержатся под присмотром в неких местах, откуда их иногда выпуска-

ют на спектакли, что профессор сразу и вспомнил, как про этот театр с жаром рассказывали ему на кафедре два других профессора, а, точнее, профессор и профессорша, карликовые такие добряки с огромными лицами, напоминающими дачные лопухи, да-да, те самые профессор с профессоршей, тихо и усато разбирающиеся в западном искусстве, и вдруг громко, со слюнцой, с отчаянной жестикуляцией пальцев, с твердыми громкими сморканиями в носовые платки, так жарко, огненно, так по-русски вдруг начавшие обсуждать в коридоре этот спектакль, что, конечно, Евгению Леонардовичу надо было купить билеты и пригласить Бронкси именно на него, и как будто в стройное повествование, речь которого придумал Платон, в гармоничное объяснение благого целого, как ветер, уже врывался какой-то странный русский беспорядок, искажающий и мысль Платона и мысли ее толкователей, задувая, как из щели каким-то непрошенным сквозняком, что где-то уже как будто и пели, и гремели, и плясали и отдувались на бобах, и что даже, как будто, и сам Платон, испуганный и слегка побледневший, вылезая из автомобиля, вдруг бестолково и непонятно попытался вернуться опять к разговору о каком-то третьем начале (о каком, кстати, отвечала Бронкси на билет), имя которого – *хора* – можно было бы перевести с древнегреческого как окрестность или место, еще лучше – местность, в данном случае, конечно же, русская.

Сергей мертв, а та женщина, с которой Сергей мог бы его познакомить, – она могла бы сейчас сидеть рядом, совсем близко, так близко, что Егор мог бы замереть, странная радость, что *она* на самом деле здесь, и тогда – никакого спектакля и не надо. Чья-то пьеса, чье-то воображение – всего лишь предлог, чтобы она, Бронкси, была сейчас здесь. Как она оборачивается, как смотрит – тот же взгляд, что и тогда.

Но сейчас он был один, и рядом – лишь пустое кресло с черными блестящими подлокотниками. Впереди – ярко освещенная сцена, на которую уже выходили актеры. Это были странные актеры – их карликовые тела или, наоборот, непропорционально длинные; маленькие головы с какими-то детскими лицами, и при этом все они взрослые люди.

«Да, этот спектакль и должны играть настоящие дауны. Это же театр даунов. Вот кому действительно не повезло».

Они выходили молча на сцену и молча останавливались, стояли перед рампой и смотрели в зал, разглядывая сидящих, как будто всматриваясь в темноту леса. Они были, как какие-то *испорченные* люди и – одновременно – как ангелы.

Егор был глубоко поражен. Те, кто молча стоял сейчас перед ним – а ведь они были идиотами – именно они как будто и были настоящими, именно они знали нечто, что никак не мог разгадать он.

В пьесе, которую они играли, похоже, не было никакого сюжета. Там кто-то воскресал и все никак не мог воскреснуть. Делал вид, что умирает, и все никак не мог умереть. Это было какое-то абсурдное действие, как было написано в афишке – «вольное переложение по мотивам русской классики». Устройство сцены механически двигалось, тряслось, и временами даже грохотало. Иногда наливалась, как в мелкий бассейн – почти сантиметров на десять, как отмечал про себя Егор – вода, а потом по периметру зажигался настоящий огонь. Персонажи, мужчины и женщины, все время пытались обнаружить друг друга на ощупь, они менялись парами, произносили какие-то монологи, обрывки цитат. Все это действие производило на Егора впечатление чудовищное, здесь, конечно, узнавался то Достоевский, то Гоголь, то даже Толстой. Режиссер как будто был озабочен лишь тем, чтобы найти какую-то новую интерпретацию, чтобы главный герой мог окончательно и бесповоротно умереть. Было во всем этом какое-то надругательство. Но, в то же время, и что-то настолько пронзительное – ведь актеры были как дети – что-то настолько трагическое в этом своем абсурдном комизме – ведь актеры были даунами – что Егор нестерпимо почувствовал подступающий к горлу комок слез.

Его особенно поразил главный герой, лицо которого ему показалось до странности знакомо. Егор мучительно хотел вспомнить, кого же оно ему напоминает это лицо, но что-то упорно мешало ему, как будто он в тоже самое время вспом-

нить и не хотел, как будто что-то, какое-то воспоминание, строго-настрого запрещало ему вспоминать. Актер был высокий молодой человек с непропорционально длинными руками, с широкими белыми пальцами и с каким-то нервическим лицом. Он произносил монологи. И – как можно было догадаться, – то Кириллова, то Ивана Ильича, а то почему-то Хлестакова. И герой, которого актер изображал, все непременно хотел умереть, как он жаловался одной из карлиц в розовых панталонах, которая кружила вокруг него не то как невеста, не то как мать. И во всем этом просто и надменно сиял какой-то чудовищный фарс, где концы часто не сходились с концами. Как будто режиссер хотел все же выстроить на сцене действие внятное, но у него ничего не получалось, и он снова начинал кружить все с начала и снова бросал, как будто все это было обречено на провал. Это, очевидно, было пародией на русскую жизнь, и это выглядело отвратительно, особенно в сценах, где карлики и карлицы целовались, где высокие и низкие дауны неуклюже обнимали друг друга и неумело и бездарно пытались танцевать, изображая человеческое, слишком человеческое. Но в то же время, как с ужасом осознавал Егор, во всем этом извращении была и какая-то до чудовищности чистая правда. В этом абсурдном трагизме, который режиссер так злонамеренно пытался выдавать за комизм, пылало и сияло действительно что-то, что только и могло ранить, обжечь, и что действительно обжигало.

«Потом их, этих ангелов, этих невинных, которых заставляют делать все это, потом крепкие санитары, которые ждут за сценой, после окончания представления санитары погрузят их в мрачный грязный фургон и отвезут обратно в сумасшедший дом, где эти невинные будут снова продлевать свое скорбное существование в закупоренной закрытой палате, из которой их даже не будут выпускать, и где они, как в тюрьме, должны будут и завтракать, и обедать и справлять нужду все вместе, как будто они и не ангелы, как будто они и не люди. Но, когда их не видит никто, когда санитары уйдут спать, они разыграют, наконец, свою настоящую пьесу...»

Он вернулся домой в *раздрайве*. Он даже и выбрал именно это слово для определения себя – *раздрайв* было слово нерусское, и он выбрал его с какой-то намеренно садистской насмешкой, что никогда, нет, никогда он не сможет убить себя, как попытался это сделать на сцене главный герой. Но что ведь и ему, Егору, подчас так упоительно играть с этой иллюзией, как будто именно она, эта иллюзия, и помогает ему оставаться в живых. Он посмотрел на флакон с «элениумом», который как-то оставила ему мать, чтобы он лучше засыпал (флакон словно бы нарочно попался ему на глаза). Набрать горсть и проглотить все разом, запить водой, застрелиться, открыть газ, выброситься из окна, повеситься на собственных подтяжках, аккуратно завернув их вокруг горла, да здравствует Иван-Ильич-Кириллов-Хлестаков...

– Ты как-то слишком мало ешь, – сказала мать, когда Егор пришел к ней пообедать на следующий день. – У тебя не болит глаз?

– Нет, не болит.

– Но ты все же должен показаться врачу, потому что у нас наследственная глаукома.

– Или катаракта.

– Не язвы.

– Я не язвлю.

– Ну что ты упрямишься? Тебе, возможно, пропишут очки в любом случае.

– И, что, я буду ходить по улице в очках?

– А что? Ты стесняешься?

И он приступил к супу, глухо раздражаясь. Зачем он пришел сюда? Всегда одно и то же, и ничего нового, сейчас она еще спросит, а как у него дела *на этом фронте*, ведь она так любит раздирать раны, копаться в болячках, она же уверена, что надо страдать и при этом бороться со своим страданием, как бы это ни было трудно. И она и спросила, как он ожидал:

– Ну, нашел себе *бабенку*?

Егор застыл, как будто его ударили по голове. Она спросила его так, словно теперь он был партнер по какой-то игре. Ведь помимо страданий в этом мире должны быть еще и раз-

влечения. Он не догадался – она спросила его, чтобы доставить ему хоть какую-нибудь радость. Разве не может он позволить себе поиграть с самыми началами любви? Но и она не догадалась, как покорила Егора эта ее фраза, какое страдание причинило ему это слово, как будто она, его мать, и была эта *бабенка*, и сейчас вульгарно обнажалась перед ним. Он вдруг осознал все ту же никчемность. Зачем он приходит сюда? Она смотрела сейчас на него, как на молодого мужчину. И ему было горько и стыдно. Как манерно и игриво она улыбается, думал он, как, наверное, она улыбается и тем лысым и пожилым *мужичкам* у себя на работе, где она сидит на стуле или встает и переносит бумажки из кабинета в кабинет, и где эти *мужички*, и где вся эта их строгость и официальность, и даже весь деловой распорядок сам по себе, как будто все это пропитано и пронизано каким-то перезрелым соком, соком какой-то вульгарности, что как будто и сидят-то они на стульях в этом, как теперь принято выражаться *ореп расе*, не как коллеги, и ходят по коридорам из кабинета в кабинет не как сотрудники, а как *бабёнки и мужички*, которые всегда *тайно голые*, и которые и предаются в порочном воображении своем каким-то, даже и не всегда, наверное, приятным наслаждениям, и что эти воображаемые, пусть даже и болезненные, наслаждения необходимы, и что им надо предаваться по какому-то странному закону и здесь, в офисе, и закон этот должен исполняться над каждым, поименно, не исключая и начальников, и чтобы высшие начальники *дела-*

ли это в воображении своем над низшими, а над высшими – те, кто еще выше них, чтобы, в конце концов, каждый получил свое разрешение от бремени, свою разрядку, после которой ему будет отпущено его незримое принятие вины, его отвращения к себе и к другим, и именно это и будет наказанием. И когда наказание будет уже позади, можно будет пообещать себе, что этого больше не повторится, что помимо порока есть все же и сознание своего достоинства, чтобы, по крайней мере, ничего *такого* себе не представлять. Потому что есть другая – своя и только своя истинная жизнь, и что хоть эта жизнь может быть не испачкана, не опозорена и не опорочена никакими представлениями.

Он все еще не мог поднять глаз, как будто она, его мать, и вправду сидела перед ним голой. Мучительное воспоминание, – распаренное и разваренное, как лук, от которого он всегда так содрогался, когда обнаруживал его в тарелке супа, будучи ребенком, – закрывало сейчас глаза пеленой, он вдруг вспомнил, как классе в пятом, когда он приходил из школы и садился за обед с ней, со своей матерью, как он иногда сползал под стол, словно бы уронил хлеб и должен теперь его поднять, а на самом деле, чтобы поглядеть в ее расставленные ляжки. Он вспомнил и о том, как однажды, уже в старшем классе, нашел в ее кровати спрятанную под подушкой *резинку*, забытую чужим мужчиной, приходящим по понедельникам, когда она так срочно отсылала Егора в кино, нашел этот резиновый кружок и раскатал... И сейчас, вспо-

миная, не удержавшись, подавился, неаккуратно нажав на ложку, что та надавила на тарелку, что тарелка почти опрокинулась, наклонившись на край, что в ней, переполненной, налитой до голубой каймы, колыхнулись жирные наваренные суповые массы и даже выплеснулись на стол, и отчасти и ему на рубашку.

– Идиот! – сказала мать, как будто догадываясь. – Что ты делаешь, идиот?

«Идиот», – горько понеслось внутри, в каких-то подземных казематах и коридорах, какие бывают вырублены и в горьких скалах, и в каменных сахарных горах.

Надо было собираться в театр. А в горле с утра, как назло, драло.

– Черт! – сказал Евгений Леонардович.

С махровым полотенцем, замотанным вокруг шеи, он сложился по своей огромной квартире. Взял руку в перчатку бокса, бил в стену от злости. Он был разозлен от горла, бил больно своей руке. Стена содрогалась, сервизом позвякивала этажерка и фамильные бокалы в серванте догадывались, как это действительно глупо – заболеть каким-то дурацким насморком, каким-то абсурдным кашлем, когда так близко пролетает комета, которую можно ухватить за хвост. А тут, как назло, в горле, как каким-то кораблем, который, раздирая рези в доках, выплывает так, что гланды увеличиваются неимоверно, и густо, малиново блестят. О, как бессмысленен спорт, что он не может никак помочь, и только полоскание бурное с эвкалиптом, что мышцами почему-то никак...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.